

СЕРГЕЙ
ДОВЛАТОВ

Ремесло



АЗБУКА-КЛАССИКА

Сергей Довлатов

Ремесло

«Азбука-Аттикус»

1984

Довлатов С. Д.

Ремесло / С. Д. Довлатов — «Азбука-Аттикус», 1984

Сергей Довлатов – один из наиболее популярных и читаемых русских писателей конца XX – начала XXI века. Его повести, рассказы и записные книжки переведены на множество языков, экранизированы, изучаются в школе и вузах. «Заповедник», «Зона», «Иностранка», «Наши», «Чемодан» – эти и другие удивительно смешные и пронзительно печальные довлатовские вещи давно стали классикой. «Отморозил пальцы ног и уши головы», «выпил накануне – ощущение, как будто проглотил заячью шапку с ушами», «алкоголизм излечим – пьянство – нет» – шутки Довлатова запоминаешь сразу и на всю жизнь, а книги перечитываешь десятки раз. Они никогда не надоедают. Содержит нецензурную брань

© Довлатов С. Д., 1984

© Азбука-Аттикус, 1984

Содержание

Часть первая	6
Предисловие	6
Первый критик	8
Судьба	9
Начало	10
Дедушка русской словесности	11
Дальше	13
Зона	15
Этап	16
Потомок Д'Артаньяна	17
Горожане	19
Рыжий	21
Рядом с гейне	22
Первая рецензия	24
Нравится – возвращаем!	26
Литературный гарлем	28
Как заработать 1000 (тысячу) рублей	30
Кругом одни евреи	31
Печально я гляжу...	36
Позвольте расписаться	39
Директор Кондрашев	41
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Сергей Довлатов

Ремесло

© С. Довлатов (наследники), 1985, 2013

© В. Пожидаев, оформление серии, 2012

© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2013

Издательство АЗБУКА®

Публикуется с любезного разрешения Елены и Екатерины Довлатовых

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

Часть первая Невидимая книга

Предисловие

С тревожным чувством берусь я за перо. Кого интересуют признания литературного неудачника? Что поучительного в его исповеди?

Да и жизнь моя лишена внешнего трагизма. Я абсолютно здоров. У меня есть любящая родня. Мне всегда готовы предоставить работу, которая обеспечит нормальное биологическое существование.

Мало того, я обладаю преимуществами. Мне без труда удастся располагать к себе людей. Я совершил десятки поступков, уголовно наказуемых и оставшихся безнаказанными.

Я дважды был женат, и оба раза счастливо.

Наконец, у меня есть собака. А это уже излишество.

Тогда почему же я ощущаю себя на грани физической катастрофы? Откуда у меня чувство безнадежной жизненной непригодности? В чем причина моей тоски?

Я хочу в этом разобраться. Постоянно думаю об этом. Мечтаю и надеюсь вызвать призрак счастья...

Мне жаль, что прозвучало это слово. Ведь представления, которые оно рождает, безграничны до нуля.

Я знал человека, всерьез утверждавшего, что он будет абсолютно счастлив, если жилконтора заменит ему фановую трубу...

Суетное чувство тревожит меня. Ага, подумают, возомнил себя непризнанным гением!

Да нет же! В этом-то и дело, что нет! Я выслушал сотни, тысячи откликов на мои рассказы. И никогда, ни в единой, самой убогой, самой фантастической петербургской компании меня не объявляли гением. Даже когда объявляли таковыми Горецкого и Харитоненко.

(Поясню. Горецкий – автор романа, представляющего собой девять листов засвеченной фотобумаги. Главное же действующее лицо наиболее зрелого романа Харитоненко – презерватив.)

Тринадцать лет назад я взялся за перо. Написал роман, семь повестей и четыреста коротких вещей. (На ощупь – побольше, чем Гоголь!) Я убежден, что мы с Гоголем обладаем равными авторскими правами. (Обязанности разные.) Как минимум, одним неотъемлемым правом. Правом обнародовать написанное. То есть правом бессмертия или неудачи.

За что же моя рядовая, честная, единственная склонность подавляется бесчисленными органами, лицами, институтами великого государства?!

Я должен это понять.

Не буду утруждать себя композицией. Сумбурно, длинно и невнятно попытаюсь изложить свою «творческую» биографию. Это будут приключения моих рукописей. Портреты знакомых. Документы...

Как же назвать мне все это – «Досье»? «Записки одного литератора»? «Сочинение на вольную тему»?

Разве это важно? Книга-то невидимая...

За окном – ленинградские крыши, антенны, бледное небо. Катя готовит уроки. Фокстерьер Глафира, похожая на березовую чурочку, сидит у ее ног и думает обо мне.

А передо мной лист бумаги. И я пересекаю эту белую заснеженную равнину – один.

Лист бумаги – счастье и проклятие! Лист бумаги – наказание мое...

Предисловие, однако, затянулось. Начнем. Начнем хотя бы с этого.

Первый критик

До революции Агния Францевна Мау была придворным венерологом. Прошло шестьдесят лет. Навсегда сохранила Агния Францевна горделивый дворцовый апломб и прямоту клинициста. Это Мау сказала нашему квартуполномоченному полковнику Тихомирову, отдававшему лапу ее болонке:

– Вы – страшное говно, мон колонель, не обессудьте!..

Тихомиров жил напротив, загнанный в отвратительную коммуналку своим партийным бескорытием. Он добивался власти и ненавидел Мау за ее аристократическое происхождение. (У самого Тихомирова происхождения не было вообще. Его породили директивы.)

– Ведьма! – грохотал он. – Фашистка! Какать в одном поле не сяду!..

Старуха поднимала голову так резко, что взлетал ее крошечный золотой медальон:

– Неужели какать рядом с вами такая уж большая честь?!

Тусклые перья на ее шляпе гневно вздрагивали...

Для Тихомирова я был чересчур изыскан. Для Мау – безнадежно вульгарен. Но против Агнии Францевны у меня было сильное оружие – вежливость. А Тихомирова вежливость настораживала. Он знал, что вежливость маскирует пороки.

И вот однажды я беседовал по коммунальному телефону. Беседа эта страшно раздражала Тихомирова чрезмерным умственным изобилием. Раз десять Тихомиров проследовал узкой коммунальной трассой. Трижды ходил в уборную. Заваривал чай. До полярного сияния начистил лишённые индивидуальности ботинки. Даже зачем-то возил свой мопед на кухню и обратно.

А я все говорил. Я говорил, что Лев Толстой, по сути дела, – обыватель. Что Достоевский сродни постимпрессионизму. Что апперцепция у Бальзака – неорганична. Что Люда Федосенко сделала аборт. Что американской прозе не хватает космополитического фермента...

И Тихомиров не выдержал.

Умышленно задев меня пологим животом, он рявкнул:

– Писатель! Смотрите-ка – писатель! Да это же писатель!.. Расстреливать надо таких писателей!..

Знал бы я тогда, что этот вопль расслабленного умственной перегрузкой квартуполномоченного на долгие годы определит мою жизнь.

«...Расстреливать надо таких писателей!..»

Кажется, я допускаю ошибку. Необходима какая-то последовательность. Например, хронологическая.

Первый литературный импульс – вот с чего я начну.

Это было в октябре 1941 года. Башкирия, Уфа, эвакуация, мне – три недели.

Когда-то я записал этот случай...

Судьба

Мой отец был режиссером драматического театра. Мать была в этом театре актрисой. Война не разлучила их. Они расстались значительно позже, когда все было хорошо...

Я родился в эвакуации, четвертого октября. Прошло три недели. Мать шла с коляской по бульвару. И тут ее остановил незнакомый человек.

Мать говорила, что его лицо было некрасивым и грустным. А главное – совсем простым, как у деревенского мужика. Я думаю, оно было еще и значительным. Недаром мама помнила его всю жизнь.

Штатский незнакомец казался вполне здоровым.

– Простите, – решительно и смущенно выговорил он, – но я бы хотел ущипнуть этого мальчишку.

Мама возмутилась.

– Новости, – сказала она, – так вы и меня захотите ущипнуть.

– Вряд ли, – успокоил ее незнакомец.

Затем добавил:

– Хотя еще минуту назад я бы задумался, прежде чем ответить...

– Идет война, – заметила мама уже не так резко, – священная война! Настоящие мужчины гибнут на передовой. А некоторые гуляют по бульвару и задают странные вопросы.

– Да, – печально согласился незнакомец, – война идет. Она идет в душе каждого из нас.

Прощайте.

Затем добавил:

– Вы ранили мое сердце...

Прошло тридцать два года. И вот я читаю статью об Андрее Платонове. Оказывается, Платонов жил в Уфе. Правда, очень недолго. Весь октябрь сорок первого года. И еще – у него там случилась беда. Пропал чемодан со всеми рукописями.

Человек, который хотел ущипнуть меня, был Андреем Платоновым.

Я поведал об этой встрече друзьям. Унылые люди сказали, что это мог быть и не Андрей Платонов. Мало ли загадочных типов шатается по бульварам?..

Какая чепуха! В описанной истории даже я – фигура несомненная! Так что же говорить о Платонове?!

Я часто думаю про вора, который украл чемодан с рукописями. Вор, наверное, обрадовался, увидев чемодан Платонова. Он думал, там лежит фляга спирта, шевиотовый мантиль и большой кусок говядины. То, что затем обнаружилось, было крепче спирта, ценнее шевиотового мантиля и дороже всей говядины нашей планеты. Просто вор этого не знал. Видно, он родился хроническим неудачником. Хотел разбогатеть, а стал владельцем пустого чемодана. Что может быть плачевнее?

Мазурик, должно быть, швырнул рукопись в канаву, где она и сгинула. Рукопись, лежащая в канаве или в ящике стола, не отличима от прошлогодних газет.

Я не думаю, чтобы Андрей Платонов безмерно сожалел об утраченной рукописи. В этих случаях настоящие писатели рассуждают так:

«Даже хорошо, что у меня пропали старые рукописи, ведь они были так несовершенны. Теперь я вынужден переписать рассказы заново, и они станут лучше...»

Было ли все так на самом деле? Да разве это важно?! Думаю, что обойдемся без нотариуса. Моя душа требует этой встречи. Не зря же я с детства мечтал о литературе. И вот пытаюсь найти слова...

Начало

Я вынужден сообщать какие-то детали моей биографии. Иначе многое останется неясным. Сделаю это коротко, пунктиром.

Толстый застенчивый мальчик... Бедность... Мать самокритично бросила театр и работает корректором...

Школа... Дружба с Алешей Лаврентьевым, за которым приезжает «форд»... Алеша шалит, мне поручено воспитывать его... Тогда меня возьмут на дачу... Я становлюсь маленьким гувернером... Я умнее и больше читал... Я знаю, как угодить взрослым...

Черные дворы... Зарождающаяся тяга к плебсу... Мечты о силе и бесстрашии... Похороны дохлой кошки за сараями... Моя надгробная речь, вызвавшая слезы Жанны, дочери электрика...

Бесконечные двойки... Равнодушие к точным наукам... Совместное обучение... Девочки... Алла Горшкова... Мой длинный язык... Неуклюжие эпиграммы... Тяжкое бремя сексуальной невинности...

1952 год. Я отсылаю в газету «Ленинские искры» четыре стихотворения. Одно, конечно, про Сталина. Три – про животных...

Первые рассказы. Они публикуются в детском журнале «Костер». Напоминают худшие вещи средних профессионалов...

С поэзией кончено навсегда. С невинностью – тоже...

Аттестат зрелости... Производственный стаж... Типография имени Володарского... Сигареты, вино и мужские разговоры... Растущая тяга к плебсу. (То есть буквально ни одного интеллигентного приятеля.)

Университет имени Жданова. (Звучит не хуже, чем «Университет имени Аль Капоне»...) Филфак... Прогулы... Студенческие литературные упражнения...

Бесконечные переэкзаменовки... Несчастливая любовь, окончившаяся женитьбой... Знакомство с молодыми ленинградскими поэтами – Рейном, Найманом, Бродским... Наиболее популярный человек той эпохи – Сергей Вольф.

Дедушка русской словесности

Нас познакомили в ресторане. Вольф напоминал американского безработного с плаката. Джинсы, свитер, мятый клетчатый пиджак.

Он пил водку. Я пригласил его в фойе и невнятно объяснился без свидетелей. Я хотел, чтобы Вольф прочитал мои рассказы.

Вольф был нетерпелив. Я лишь позднее сообразил – водка нагревается.

– Любимые писатели? – коротко спросил Вольф.

Я назвал Хемингуэя, Бёлля, русских классиков...

– Жаль, – произнес он задумчиво, – жаль... Очень жаль...

Попрощался и ушел.

Я был несколько озадачен. Женя Рейн потом объяснил мне:

– Назвали бы Вольфа. Он бы вас угостил. Настоящие писатели интересуются только собой...

Как всегда, Рейн был прав...

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

(Из записных книжек)

Как-то сидел у меня Веселов, бывший летчик. Темпераментно рассказывал об авиации. Он говорил:

«Самолеты преодолевают верхнюю облачность... Жаворонки попадают в сопла... Глохнут моторы... Самолеты падают... Люди разбиваются... Жаворонки попадают в сопла... Гибнут люди...»

А напротив сидел Женя Рейн.

«Самолеты разбиваются, – кричал Веселов, – моторы глохнут... В сопла попадают жаворонки... Гибнут люди... Гибнут люди...»

Тогда Рейн обиженно крикнул:

«А жаворонки что – выживают?!»

Да и с Вольфом у меня хорошие отношения. О нем есть такая запись:

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Вольф с Длуголенским отправились ловить рыбу. Вольф поймал огромного судака. Вручил его хозяйке и говорит:

«Поджарьте этого судака, и будем вместе ужинать».

Так и сделали. Поужинали, выпили. Вольф и Длуголенский ушли в свой чулан. Хмурый Вольф сказал Длуголенскому:

«У тебя есть карандаш и бумага?»

«Есть».

«Давай сюда».

Вольф порисовал минуты две и говорит: «Вот суки! Они подали не всего судака! Смотри. Этот подъем был. И этот спуск был. А вот этого перевала – не было. Явный пробел в траектории судака...»

Дальше

1960 год. Новый творческий подъем. Рассказы, пошлые до крайности. Тема – одиночество. Неизменный антураж – вечеринка. Вот примерный образчик фактуры:

«– А ты славный малый!

– Правда?

– Да, ты славный малый!

– Я разный.

– Нет, ты славный малый. Просто замечательный.

– Ты меня любишь?

– Нет...»

Выпирающие ребра подтекста. Хемингуэй как идеал литературный и человеческий...

Недолгие занятия боксом... Развод, отмеченный трехдневной пьянкой... Безделье...

Повестка из военкомата...

Стоп! Я хотел уже перейти к решающему этапу своей литературной биографии. И вот перечитал написанное. Что-то важное скомкано, забыто. Упущенные факты тормозят мои автобиографические дроги.

Я уже говорил, что познакомился с Бродским. Вытеснив Хемингуэя, он навсегда стал моим литературным кумиром.

Нас познакомила моя бывшая жена Ася. До этого она не раз говорила:

– Есть люди, перед которыми стоят великие цели!

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Шли мы откуда-то с Бродским. Был поздний вечер. Спустились в метро – закрыто. Чугунная решетка от земли до потолка. А за решеткой прогуливается милиционер.

Иосиф подошел ближе. Затем довольно громко крикнул:

«Э!»

Милиционер насторожился, обернулся.

«Дивная картина, – сказал ему Бродский, – впервые наблюдаю мента за решеткой...»

Я познакомился с Бродским, Найманом, Рейном. В дальнейшем узнал их лучше. То есть в послеармейские годы, когда мы несколько сблизились. До этого я не мог по заслугам оценить их творческое и личное своеобразие. Более того, мое отношение к этой группе поэтов имело налет скептицизма. Помимо литературы я жил интересами спорта, футбола. Нравился барышням из технических вузов. Литература пока не стала моим единственным занятием. Я уважал Евтушенко.

Почему же так важно упомянуть эту группу? Я уже тогда знал о существовании неофициальной литературы. О существовании так называемой второй культурной действительности. Той самой действительности, которая через несколько лет превратится в единственную реальность...

Повестка из военкомата. За три месяца до этого я покинул университет.

В дальнейшем я говорил о причинах ухода – туманно. Загадочно касался неких политических мотивов.

На самом деле все было проще. Раза четыре я сдавал экзамен по немецкому языку. И каждый раз проваливался.

Языка я не знал совершенно. Ни единого слова. Кроме имен вождей мирового пролетариата. И наконец меня выгнали. Я же, как водится, намекал, что страдаю за правду.

Затем меня призвали в армию. И я попал в конвойную охрану. Очевидно, мне суждено было побывать в аду...

Зона

Я не буду рассказывать, что такое ВОХРА. Что такое нынешний Устьвымлаг. Наиболее драматические ситуации отражены в моей рукописи «Зона». По ней, думаю, можно судить о том, как я жил эти годы. Два экземпляра «Зоны» у меня сохранились. Еще один благополучно переправлен в Нью-Йорк. И последний, четвертый, находится в эстонском КГБ. (Но об этом – позже.)

«Зона» – мемуары надзирателя конвойной охраны, цикл тюремных рассказов.

Как видите, начал я с бытописания изнанки жизни. Дебют вполне естественный (Бабель, Горький, Хемингуэй). Экзотичность пережитого материала – важный литературный стимул. Хотя наиболее чудовищные, эпатажирующие подробности лагерной жизни я, как говорится, опустил. Воспроизводить их не хотелось. Это выглядело бы спекулятивно. Эффект заключался бы не в художественной ткани произведения, а в самом материале. Так что я игнорировал крайности, пытаюсь держаться в обыденных эстетических рамках.

В чем основные идеи «Зоны»?

Мировая «каторжная» литература знает две системы идейных представлений. Два нравственных аспекта.

1. Каторжник – жертва, герой, благородная многострадальная фигура. Соответственно распределяются моральные ориентиры. То есть представители режима – сила негативная, отрицательная.

2. Каторжник – монстр, злодей. Соответственно – все наоборот. Каратель, полицейский, сыщик, милиционер – фигуры благородные и героические.

Я же с удивлением обнаружил нечто третье. Полицейские и воры чрезвычайно напоминают друг друга. Заключение особого режима и лагерные надзиратели безумно похожи. Язык, образ мыслей, фольклор, эстетические каноны, нравственные установки. Таков результат обоюдного влияния. По обе стороны колючей проволоки – единый и жестокий мир. Это я и попытался выразить.

И еще одну существенную черту усматриваю я в моем лагерном наследии. Сравнительно новый по отношению к мировой литературе штрих.

Каторга неизменно изображалась с позиций жертвы. Каторга же, увы, и пополняла ряды литераторов. Лагерная охрана не породила видных мастеров слова. Так что мои «Записки охранника» – своеобразная новинка.

Короче, осенью 64-го года я появился в Ленинграде. В тощем рюкзаке лежала «Зона». Перспективы были самые неясные.

Начинался важнейший этап моей жизни...

Этап

Я встретился с бывшими приятелями. Общаться нам стало трудно. Возник какой-то психологический барьер. Друзья кончали университет, серьезно занимались филологией. Подхваченные теплым ветром начала шестидесятых годов, они интеллектуально расцвели. А я безнадежно отстал. Я напоминал фронтовика, который вернулся и обнаружил, что его тыловые друзья преуспели. Мои ордена позвякивали, как шутовские бубенцы.

Я побывал на студенческих вечеринках. Рассказывал кошмарные лагерные истории. Меня деликатно слушали и возвращались к актуальным филологическим темам: Пруст, Берроуз, Набоков...

Все это казалось мне удивительно пресным. Я был одержим героическими лагерными воспоминаниями. Я произносил тосты в честь умерщвленных надзирателей и конвоиров. Я рассказывал о таких ужасах, которые в своей чрезмерности были лишены правдоподобия. Я всем надоел.

Мне понятно, за что высмеивал Тургенев недавнего каторжанина Достоевского.

К этому времени моя жена полюбила знаменитого столичного литератора. Тогда я окончательно надулся и со всеми перессорился.

Надо было искать работу. Мне казалось в ту пору, что журналистика сродни литературе. И я поступил в заводскую многотиражку. Газетная работа поныне является для меня источником существования. Сейчас газета мне опротивела, но тогда я был полон энтузиазма.

Много говорится о том, что журналистика для литератора – занятие пагубное. Я этого не ощутил. В этих случаях действуют различные участки головного мозга. Когда я творю для газеты, у меня изменяется почерк.

Итак, я поступил в заводскую многотиражку. Одновременно писал рассказы. Их становилось все больше. Они не умещались в толстой папке за сорок копеек. Тогда я еще не вполне серьезно относился к этому.

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Однажды брат спросил меня:

«Ты пишешь роман?»

«Пишу», – ответил я.

«И я пишу, – обрадовался брат, – махнем не глядя?..»

Я должен был кому-то показать свои рукописи. Но кому? Приятели с филфака не внушали доверия. Знакомых литераторов у меня не было. Только неофициальные...

Потомок Д'Артаньяна

По бульвару вдоль желтых скамеек, мимо гипсовых урн шагает небольшого роста человек. Зовут его Анатолий Найман.

Быстрые ноги его обтянуты светлыми континентальными джинсами. В движениях – изящество юного князя.

Найман – интеллектуальный ковбой. Успеваешь нажать спусковой крючок раньше любого оппонента. Его трассирующие шутки – ядовиты.

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Женщина в трамвае – Найману:

«Ах, не прикасайтесь ко мне!»

«Ничего страшного, я потом вымою руки...»

Кроме того, Найман пишет замечательные стихи, он друг Ахматовой и воспитатель Бродского.

Я его боюсь.

Мы встретились на улице Правды. Найман оглядел меня с веселым задором. Еще бы, подстрелить такую крупную дичь! Скоро Найман убедился в том, что я – млекопитающее. Не хищник. Морж на суше. Чересчур большая мишень. Стрелять в меня неинтересно. А сейчас...

– Мы, кажется, знакомы? Демобилизовались? Очень хорошо... Что-то пишете? Прочитайте строчки три... Ах рассказы? Тогда занесите. Я живу близко...

Найман читает мои рассказы. Звонит. Мы гуляем возле Пушкинского театра.

– Через год вы станете «прогрессивным молодым автором». Если вас это, конечно, устраивает...

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

«Толя, – зову я Наймана, – пойдите в гости к Леве Рыскину».

«Не пойду. Какой-то он советский».

«То есть как это – советский? Вы ошибаетесь!»

«Ну, антисоветский. Какая разница?...»

Найман спешит. Я провожаю его. Мне хочется без конца говорить о рассказах. Печататься не обязательно. Это не важно. Когда-нибудь потом... Лишь бы написать что-то стоящее.

Найман рассеянно кивает. Он равнодушен даже к созвездию левых москвичей. Ему известны литературные тайны прошлого и будущего. Современная литература – вся – невзрачный захламленный тоннель между прошлым и будущим...

Мы оказываемся в районе новостроек. Я пытаюсь ему угодить:

– Думаю, Толстой не согласился бы жить в этом унылом районе!

– Толстой не согласился бы жить в этом... году!..

Мы видимся довольно часто. Я приношу новые рассказы. Толя их снисходительно похваливает. Его жена Лера твердит:

– Сергей, у вас нет Бога! Вы – изувер!

Я не знаю, кто я такой. Пишу рассказы... Совесть есть, это точно. Я ощущаю ее болезненное наличие. Мне грустно, что наша планета в дальнейшем остынет.

Я завидую Найману. Его остроумию, уверенности, злости.

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Найману звонит приятельница:

«Толя! Приходи к нам обедать... Знаешь, возьми по дороге сардин – таких импортных, марокканских... И варенья какого-нибудь... Если тебя не беспокоят эти расходы».

«Эти расходы меня совершенно не беспокоят. Потому что я не куплю ни того ни другого...»

Я так хочу понравиться Найману. Я почти заискиваю.

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Я спрашиваю Наймана:

«Вы знаете Абрама Каценеленбогена?»

Абрам Каценеленбоген – талантливый лингвист. Популярный, яркий человек. Толя должен знать его. Я тоже знаю Абрама Каценеленбогена. То есть у нас – общие знакомые. Значит, мы равны... Найман отвечает:

«Абрам Каценеленбоген? Что-то знакомое. Имя Абрам мне где-то встречалось. Определенно встречалось. Фамилию Каценеленбоген слышу впервые...»

Приношу ему три рассказа в неделю.

– Прочел с удовольствием. Рассказы замечательные. Плохие, но замечательные. Вы становитесь прогрессивным молодым автором. На улице Воинова есть литературное объединение. Там собираются прогрессивные молодые авторы. Хотите, я покажу рассказы Игорю Ефимову?

– Кто такой Игорь Ефимов?

– Прогрессивный молодой автор...

Горожане

Так мои рассказы попали к Игорю Ефимову. Ефимов их прочел, кое-что одобрил. Через него я познакомился с Борисом Вахтиным, Марамзиным и Губиным. Четверо талантливых авторов представляли литературное содружество «Горожане». Само название противопоставляло их крепнущей деревенской литературе.

Негласным командиром содружества равных был Вахтин. Мужественный, энергичный – Борис чрезвычайно к себе располагал.

Излишняя театральность его манер порою вызывала насмешки. Однако же – насмешки тайные. Смеяться открыто не решались. Даже ядовитый Найман возражал Борису осторожно.

Потом я узнал, что Вахтину хорошо заметны его слабости. Что он нередко иронизирует в собственный адрес. А это – неопровержимый признак ума.

Как у большинства агрессивных людей, его волевое давление обрушивалось на людей столь же агрессивных. В отношении людей неприятельных он был чрезвычайно сдержан. Я в ту пору был неприятельным человеком.

Мне известно, что Вахтин совершил немало добрых поступков элементарного житейского толка. Ему постоянно досаждали чьи-то жены, которым он выхлопывал алименты. Его домогались инвалиды, требовавшие финансового участия. К нему шли жертвы всяческих беззаконий.

Еще мне импонировала в нем черточка ленивого барства. Его неизменная готовность раскошелиться. То есть буквально – уплатить за всех...

Губин был человеком другого склада. Выдумщик, плут, сочинитель, он начинал легко и удачливо. Но его довольно быстро раскусили. Последовал длительный тяжелый неуспех. И Губин, мне кажется, сдался. Оставил литературные попытки. Сейчас он чиновник Ленгаза, неизменно приветливый, добрый, веселый. За всем этим чувствуется драма.

Сам он говорит, что писать не бросил. Мне хочется этому верить. И все-таки я думаю, что Губин переступил рубеж благотворного уединения. Пусть это звучит банально – литературная среда необходима.

Писатель не может бросить свое занятие. Это неизбежно привело бы к искажению его личности. Вот почему я думаю о Губине с тревогой и надеждой.

В моих записных книжках имеется о нем единственное упоминание.

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Володя Губин – человек не светский.

«До чего красивые жены у моих приятелей, – говорит он, – это фантастика! У Вахтина – красавица! У Ефимова – красавица! А у Довлатова, ну, такая красавица... Таких даже в метро не часто встретишь!..»

Губин рассказывает о себе:

– Да, я не появляюсь в издательствах. Это бесполезно. Но я пишу. Пишу ночами. И достигаю таких вершин, о которых не мечтал!..

Повторяю, я хотел бы этому верить. Но в сумеречные озарения поверить трудно. Ночь – опасное время. Во мраке так легко потерять ориентиры.

Судьба Губина – еще одно преступление наших литературных вохровцев...

Марамзин сейчас человек известный, живет в Париже, редактирует «Эхо».

Когда мы познакомились, он уже был знаменитым скандалистом. Смелый, талантливый и расчетливый, Марамзин, я уверен, давно шел к намеченной цели.

Его замечательную, несколько манерную прозу украшают внезапные оазисы ясности и чистоты:

«Я свободы не прошу. Зачем мне свобода? Более того, у меня она, кажется, есть...»
Замечу, что это написано до эмиграции.

В его характере с последовательной непоследовательностью уживались безграничная ортодоксия и широчайшая терпимость. Его безапелляционные жесты – раздражали. Затрудняла общение и склонность к мордобою.

После одной кулачной истории я держался от Марамзина на расстоянии...

О Ефимове писать трудно. Игорь многое предпринял, чтобы затруднить всякие разговоры о себе. Попытки рассказать о нем уводят в сторону казенной характеристики:

«Честен, принципиален, морально устойчив... Пользуется авторитетом...»

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

*Шли выборы правления Союза. (Союза писателей, разумеется.)
Голосовали по спискам. Неудобную кандидатуру следовало вычеркнуть.*

В коридоре Ефимов повстречал Минчковского. Обдав Игоря винными парами, тот задорно произнес:

«Идем голосовать!»

Пунктуальный Ефимов уточнил:

«Идем вычеркивать друг друга...»

Ефимов – человек не слишком откровенный. Книги и даже рукописи не отражают полностью его характера.

Я хотел бы написать: это человек сложный... Сложный, так не пиши. А то, знаете, в переводных романах делаются иногда беспомощные сноски:

«В оригинале – непереводаемая игра слов...»

Я думаю, Ефимов – самый многообещающий человек в Ленинграде.

Если не считать Бродского...

Рыжий

Среди моих знакомых преобладали неординарные личности. Главным образом, дерзкие начинающие писатели, бунтующие художники и революционные музыканты.

Даже на этом мятежном фоне Бродский резко выделялся...

Нильс Бор говорил:

«Истины бывают ясные и глубокие. Ясной истине противостоит ложь. Глубокой истине противостоит другая истина, не менее глубокая...»

Мои друзья были одержимы ясными истинами. Мы говорили о свободе творчества, о праве на информацию, об уважении к человеческому достоинству. Нами владел скептицизм по отношению к государству.

Мы были стихийными, физиологическими атеистами. Так уж нас воспитали. Если мы и говорили о Боге, то в состоянии позы, кокетства, демарша. Идея Бога казалась нам знакомой особой творческой притязательности. Наиболее высокой по классу эмблемой художественного изобилия. Бог становился чем-то вроде положительного литературного героя...

Бродского волновали глубокие истины. Понятие души в его литературном и жизненном обиходе было решающим, центральным. Будни нашего государства воспринимались им как умирание покинутого душой тела. Или – как апатия сонного мира, где бодрствует только поэзия...

Рядом с Бродским другие молодые неконформисты казались людьми иной профессии.

Бродский создал неслыханную модель поведения. Он жил не в пролетарском государстве, а в монастыре собственного духа.

Он не боролся с режимом. Он его не замечал. И даже нетвердо знал о его существовании.

Его неосведомленность в области советской жизни казалась притворной. Например, он был уверен, что Дзержинский – жив. И что «Коминтерн» – название музыкального ансамбля.

Он не узнавал членов Политбюро ЦК. Когда на фасаде его дома укрепили шестиметровый портрет Мжаванадзе, Бродский сказал:

– Кто это? Похож на Уильяма Блэйка...

Своим поведением Бродский нарушал какую-то чрезвычайно важную установку. И его сослали в Архангельскую губернию.

Советская власть – обидчивая дама. Худо тому, кто ее оскорбляет. Но гораздо хуже тому, кто ее игнорирует...

Наверное, я мог бы вспомнить об этих людях что-то плохое. Однако делать этого принципиально не желаю. Не хочу быть объективным. Я люблю моих товарищей...

«Горожане» отнеслись ко мне благосклонно. Желая вернуть литературе черты изящной словесности, они настойчиво акцентировали языковые приемы. Даже строгий Ефимов баловался всяческой орнаменталистикой.

Борис Вахтин провозглашал:

«Не пиши ты эпохами и катаклизмами! Не пиши ты страстями и локомотивами! А пиши ты, дурень, буквами – А, Б, В...»

Я был единодушно принят в содружество «Горожане». Но тут сказалась характерная черта моей биографии – умение поспевать лишь к шапочному разбору. Стоит мне приобрести что-нибудь в кредит, и эту штуку тотчас же уценивают. А я потом два года расплачиваюсь.

С лагерной темой опоздал года на два.

В общем, пригласив меня, содружество немедленно распалось. Отделился Ефимов. Он покончил с литературными упражнениями и написал традиционный роман «Зрелища». Без него группа теряла солидность. Ведь он был единственным членом Союза писателей...

Короче, многие даже не знают, что я был пятым «горожанином».

Рядом с гейне

Мои сочинения передавались из рук в руки. Так я познакомился с Битовым, Майей Данини, Ридом Грачевым, Воскобойниковым, Леоновым, Арро... Все эти люди отнеслись ко мне доброжелательно. Из литераторов старшего поколения рассказами заинтересовались Меттер, Гор, Бакинский.

Классик нашей литературы Гранин тоже их прочел. Затем пригласил меня на дачу. Мы беседовали возле кухонной плиты.

– Неплохо, – повторял Даниил Александрович, листая мою рукопись, – неплохо...

За стеной раздавались шаги.

Гранин задумался, потом сказал:

– Только все это не для печати.

Я говорю:

– Может быть. Я не знаю, где советские писатели черпают темы. Все кругом не для печати...

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

В Тбилиси проходила конференция:

«Оптимизм советской литературы».

Среди других выступал поэт Наровчатов. Говорил на тему безграничного оптимизма советской литературы. Затем вышел на трибуну грузинский писатель Кемоклидзе:

«Вопрос предыдущему оратору».

«Слушаю вас», – откликнулся Наровчатов.

«Я хочу спросить насчет Байрона. Он был молодой?»

«Да, – удивился Наровчатов, – Байрон погиб сравнительно молодым человеком. А что? Почему вы об этом спрашиваете?»

«Еще один вопрос насчет Байрона. Он был красивый?»

«Да, Байрон обладал чрезвычайно эффектной внешностью. Это общеизвестно...»

«И еще один вопрос насчет того же Байрона. Он был зажиточный?»

«Ну разумеется. Он был лорд. У него был замок... Ей-богу, какие-то странные вопросы...»

«И последний вопрос насчет Байрона. Он был талантливый?»

«Байрон – величайший поэт Англии! Я не понимаю, в чем дело?!»

«Сейчас поймешь. Вот посмотри на Байрона. Он был молодой, красивый, зажиточный и талантливый. И он был пессимист. А ты – старый, нищий, уродливый и бездарный. И ты – оптимист!»

Гранин сказал:

– Вы преувеличиваете. Литератор должен публиковаться. Разумеется, не в ущерб своему таланту. Есть такая щель между совестью и подлостью. В эту щель необходимо проникнуть.

Я набрался храбрости и сказал:

– Мне кажется, рядом с этой щелью волчий капкан установлен.

Наступила тягостная пауза.

Я попрощался и вышел.

Прошло недели две. Я узнал, что мои рассказы будут обсуждаться в Союзе писателей. В ежемесячной программе Дома имени Маяковского напечатали анонс. Девять лет спустя взволнованно перелистываю голубую книжечку.

13 декабря 67-го года:

13 среда	13 среда
Обсуждение рассказов ДОВЛАТОВА	К 170-летию со дня рождения ГЕЙНЕ
Начало в 17 ч.	Начало в 17 ч.

Фамилии были напечатаны одинаковым шрифтом. Поклонники Гейне собрались на втором этаже. Мои – на третьем. Мои – клянусь! – значительно преобладали.

Обсуждение прошло хорошо. Если о тебе говорят целый вечер – дурное или хорошее – это приятно.

С резкой критикой выступил лишь один человек – писатель Борис Иванов. Через несколько месяцев его выгнали из партии. Я тут ни при чем. Видно, он критиковал не только меня...

Первая рецензия

Декабрьским утром 67-го года я отослал целую пачку рассказов в журнал «Новый мир». Откровенно говоря, я не питал иллюзий. Запечатал, отослал и все.

«Новый мир» тогда был очень популярен. В нем сотрудничали лучшие московские прозаики. В нем печатался Солженицын.

Я думал, что ответа вообще не последует. Меня просто не заметят.

И вот я получаю большой маркированный конверт. В нем – мои слегка помятые рассказы. К ним прилагается рецензия знаменитой Инны Соловьевой. И далее – короткое заключение отдела прозы.

Воспроизвожу наиболее существенные отрывки из этих документов. Качество цитируемых материалов – на совести авторов.

О РАССКАЗАХ С.ДОВЛАТОВА

Эти небольшие рассказы читаешь с каким-то двойным интересом. Интерес вызывает личная авторская нота, тот характер отношения к жизни, в котором преобладает стыд. Беспощадный дар наблюдательности вооружает писателя сильным биноклем: малое он различает до подробностей, большое не заслоняет его горизонтов...

Программным видится у автора демонстративный, чуть заносчивый отказ от выводов, от морали. Даже тень ее – кажется – принудит Довлатова замкнуться, оцетиниться. Впрочем, сама демонстративность авторского невмешательства, акцентированность его молчания становится формой присутствия, системой безжалостного зрения.

Хочется еще сказать о блеске стиля, о некотором щегольстве резкостью, о легкой браваде в обнаружении прямого знакомства автора с уникальным жизненным материалом, для других – невероятным и пугающим.

Но в то же время на рассказах Довлатова лежит особый узнаваемый лоск «прозы для своих». Я далека от желания упрекать молодых авторов в том, что их рассказы остаются «прозой для своих», это – беда развития школы, не имеющей доступа к читателю, лишенной такого выхода насильственно, обреченной на анаэробность, загнанной внутрь...

Вероятно, я повторюсь, если скажу, что, лишь начав профессиональную жизнь, Довлатов освободится от излишеств литературного самоутверждения, но, увы, эта моя убежденность еще не открывает перед талантливым автором журнальных страниц.

Инна Соловьева

19 января 68 г.

А вот редакционное заключение от 21 января:

Уважаемый товарищ Довлатов!

Из ваших рассказов мы ничего, к сожалению, не смогли отобрать для печати. Однако как автор вы нас заинтересовали. Хотелось бы ознакомиться с другими вашими произведениями. Обязательно присылайте. Желаем всего самого доброго.

Ст. редактор отдела прозы Инна Борисова

Рукописи были отклонены. И все-таки это письмо меня обнадежило. Ведь главное для меня – написать что-то стоящее. А здесь: «...беспощадный дар наблюдательности...», «...уникальный жизненный материал...».

Через несколько лет меня перестанут интересовать соображения рецензентов. Я буду сразу же заглядывать в конец:

«Тем не менее рассказы приходится вернуть...», «В силу известных причин рассказы отклоняем...», «Рассказы использовать не можем, хоть они произвели благоприятное впечатление...» И так далее.

Таких рецензий у меня накопилось больше сотни.

Нравится – возвращаем!

Шло время. Я познакомился с рядовыми журнальными чиновниками. С некоторыми даже подружился. Письма из редакций становились все менее официальными. Теперь я получал дружеские записки. В этом были свои плюсы и минусы. С одной стороны – товарищеская доверительная информация. Оперативность. Никаких иллюзий. Но при этом – более легкая и удобная для журнала форма отказа. Вместо ответственных казенных документов – фамильярный звонок по телефону:

– Здорово, старик! Должен тебя огорчить – не пойдет! Ты же знаешь, как у нас это делается!.. Ты ведь умный человек... Может, у тебя есть что-нибудь про завод? Про завод, говорю... А вот материться не обязательно! Я же по-товарищески спросил... В общем, звони...

Я не обижался. Результат один и тот же.

Вот несколько образцов дружеских посланий.

Из журнала «Юность»:

Сергей, привет!

Все было именно так, как я предполагал. Конечно же рассказы не прошли. Конечно же не по литературным меркам. Всякая лагерная тема наглухо закрыта, даже если речь идет об уголовниках. Ничего трагического, мрачного... «Жизнь прекрасна и удивительна!» – как восклицал товарищ Маяковский накануне самоубийства.

Некоторые сцены я часто пересказываю друзьям. Лучшие бы они прочли это на страницах «Юности», но...

Привет от Юры.

Твой Виталий

9.2.70 г.

Из журнала «Звезда»:

Дорогой Сергей!

С грустью возвращаем твою повесть, одобренную рецензентом, но запрещенную выше. Впрочем, отложенное удовольствие – не потерянное удовольствие. Верю, что рано или поздно твоя встреча с читателями «Звезды» состоится. Жму руку.

А. Титов

23 марта 1970 года

Из журнала «Нева»:

Дорогой Сережа!

Твои рассказы всем понравились, но при дальнейшем ходе событий выяснилось, что опубликовать их мы не имеем возможности.

Рукопись возвращаем. Ждем твоих новых работ. Звони. Твой

Арик Лерман

9.4.70 г.

Друзья, работающие в журналах, искренне хотели мне помочь. Только возможностей у них было маловато. Поэтому я не обижаюсь.

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

В Ленинграде есть особая комиссия по работе с молодыми авторами. Однажды меня пригласили на заседание этой комиссии. Члены комиссии задали вопрос:

«Чем можно вам помочь?»

«Ничем», – сказал я.

«Ну а все-таки? Что нужно сделать в первую очередь?»

Тогда я им ответил, по-ленински грассируя:

«В пегвую очегедь?.. В первую очередь нужно захватить мосты. Затем оцепить вокзалы. Блокировать почту и телеграф...»

Члены комиссии вздрогнули и переглянулись...

Литературный гарлем

Шли годы. Я уже не ограничивался службой в многотиражке. Сотрудничал как журналист в «Авроре», «Звезде» и «Неве». Напечатал три очерка и полтора десятка коротких рецензий. Заказы я получал в основном мелкие, но и этим дорожил чрезвычайно.

А началось все так...

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Позвонил мне заведующий отделом критики Дудко:

«Товарищ Довлатов! Сережа! Что вы не звоните?! Почему не заходите?! Срочно пишите для нас рецензию!

С вашей остротой. С вашей наблюдательностью. С присуцием вам чувством юмора...»

Захожу на следующий день в редакцию. Дудко мрачно спрашивает:

«Что вам, собственно, нужно?»

«Да вот, рецензию собираюсь написать. Хотелось бы посоветоваться насчет темы».

«Вы что, критик?»

«Нет. Не совсем...»

«Почему же вы думаете, что рецензию может написать любой?»

Я удивился, попрощался и вышел.

Через три дня опять звонит:

«Сережа, дорогой! Что же вы не появляетесь?! Мечтаем получить от вас рецензию...»

И так далее.

Захожу в редакцию. Мрачный вопрос:

«Что вам угодно?»

Это повторялось раз семь. Наконец я почувствовал, что теряю рассудок. Зашел в отдел прозы к Чиркову.

Спрашиваю: что все это значит?

«Когда ты заходишь? – интересуется Чирков. – Во сколько?»

«Куда?»

«К Дудко».

«Ну, как правило, часов в одиннадцать».

«Ясно. А он тебе звонит когда? В какие часы?»

«Как правило, часа в два. А что?»

«А то. Ты являешься, когда Дудко с похмелья – мрачный. А звонит он тебе позже. То есть уже „подлечившись“. Попробуй зайти часа в два».

Я зашел в два.

«А! – закричал Дудко. – Как я рад! Сто лет не виделись! Надеюсь, принесли рецензию?! С вашим талантом!.. С вашим чувством юмора!..»

И так далее.

С тех пор я напечатал в этом журнале десяток рецензий.

Однако раньше двух я там не появляюсь...

В общем, меня изредка публиковали. Хоть и не по специальности. На этот счет имеется такая запись:

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Лерман и я – оба попали в энциклопедию. В литературную, естественно, энциклопедию. Лерман на букву...«Ш» (библиография к Шолохову). Я – на букву «О» (библиография к Окуджаве).

Какое убожество...

Разумеется, я получал не только грустные известия. Мою работу в частном порядке хвалили уважаемые люди. Рассказы нравились Гору, Пановой, Бакинскому, Метгеру. Я получал от них дружеские записки. Постепенно этого мне стало явно недостаточно.

Как заработать 1000 (тысячу) рублей

В журнале «Нева» служил мой близкий приятель – Лерман. Давно мне советовал:

– Напиши о заводе. Ты же работал в многотиражке.

И вот я сел. Разложил свои газетные вырезки. Перечитал их. Решил на время забыть о чести. И быстро написал рассказ «По заданию» – два авторских листа тошнотворной елейной халтуры.

Там действовали наивный журналист и передовой рабочий. Журналист задавал идиотские вопросы по схеме. Передовик эту заведомую схему – разрушал. Деталей, откровенно говоря, не помню. Перечитывать это дело – стыжусь.

В «Неве» мой рассказ прочитали и отвергли.

Лерман объяснил:

– Слишком хорошо для нас.

– Хуже не бывает, – говорю.

– Бывает. Редко, но бывает. Хочешь убедиться – раскрой журнал «Нева»...

Я был озадачен. Я решился продать душу сатане, а что вышло? Вышло, что я душу сатане – подарил.

Что может быть позорнее?..

Я отослал свое произведение в «Юность». Через две недели получил ответ – «берем».

Еще через три месяца вышел номер журнала. В текст я даже не заглянул. А вот фотография мне понравилась – этакий неаполитанский солист.

В полученной мною анонимной записке этот контраст был любовно опозитизирован:

Портрет хорош, годится для кино...

Но текст – беспрецедентное говно!

Ах вот как?! Так знайте же, что эта халтура принесла мне огромные деньги. А именно – тысячу рублей.

Четыреста заплатила «Юность». Затем пришла бумага из Киева. Режиссер Пивоваров хочет снять короткометражный фильм. Двести рублей за право экранизации.

Затем договор из Москвы. Радиоспектакль силами артистов МХАТа. Двести рублей.

Далее письмо из Ташкента. Телекомпозиция. Очередные двести рублей. И еще в письме такая милая деталь:

«...Журналист в рассказе не имеет фамилии. Речь ведется от первого лица. Мы сочли закономерным дать герою – Вашу фамилию. Роль Довлатова поручена артисту Владлену Генину...»

Спрашивается, кто из наших могучих прозаиков увековечен телепостановкой? Где Шолохов, Катаев, Федин? Я и Достоевского-то не припомню... Надеюсь, товарищ Генин воплотил меня должным образом...

Тысячу рублей получил я за эту галиматью.

Тысячу рублей в неделю. Разделить на пять. Двести рублей в сутки. Разделить на восемь. (При стандартном рабочем дне.) Выходит – двадцать пять. Двадцать пять рублей в час! Столько, я думаю, и полковники КГБ не зарабатывают. А нормальные люди – тем более.

Кругом одни евреи

Перехожу к одному из самых гнусных эпизодов моей литературной юности. Это мероприятие состоялось в январе 68-го года. Приглашительные билеты выглядели так:

Вторник, 30 января 1968 г.
Ленинградское отделение Союза писателей РСФСР
приглашает Вас
НА ВСТРЕЧУ ТВОРЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Выступают поэты и прозаики:
ТАТЬЯНА ГАЛУШКО
АЛЕКСАНДР ГОРОДНИЦКИЙ
СЕРГЕЙ ДОВЛАТОВ
ЕЛЕНА КУМΠΑН
ВЛАДИМИР МАРАМЗИН
ВАЛЕРИЙ ПОПОВ
Молодые артисты, художники, композиторы.
Начало в 19 часов.
Встреча состоится
в Доме писателя им. Маяковского
(ул. Воинова, 18)

Кроме того, собирались выступить Бродский и Уфлянд. Их фамилий не указали. Что же произошло дальше?

Разумеется, мы не подсчитывали, какая часть выступающих – евреи. Кто бы стал этим заниматься?!

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Мы беседовали с классиком отечественной литературы – Пановой.

«Конечно, – говорю, – я против антисемитизма. Но ключевые позиции в русском государстве должны занимать русские люди».

«Дорогой мой, – сказала Вера Федоровна, – это и есть антисемитизм. То, что вы сказали, – это и есть антисемитизм. Ибо ключевые позиции в русском государстве должны занимать НОРМАЛЬНЫЕ люди...»

Народу собралось очень много. Сидели на подоконниках. Выступления прошли с большим успехом. Бродский читал под неумолкающий восторженный рев аудитории.

Через неделю он позвонил мне:

– Нужно встретиться.

– Что случилось?

– Это не телефонный разговор.

Если уж Бродский говорит, что разговор не телефонный, значит, дело серьезное.

Мы встретились на углу Жуковского и Литейного. Иосиф достал несколько листков папиросной бумаги:

– Прочти.

Я начал читать. Через минуту спросил:

– Как удалось это раздобыть?

– У нас есть свой человек в Большом доме. Одна девица копию сняла.

Вот что я прочел:

Отдел культуры и пропаганды ЦК КПСС

тов. Мелентьеву

Отдел культуры Ленинградского ОК КПСС

тов. Александрову

Ленинградский ОК ВЛКСМ

тов. Тупкину

Дорогие товарищи!

Мы уже не раз обращали внимание Ленинградского ОК ВЛКСМ на нездоровое в идейном смысле положение среди молодых литераторов, которым покровительствуют руководители ЛОСП РСФСР, но до сих пор никаких решительных мер не было принято. Например, 30 января с. г. в Ленинградском Доме писателя произошел хорошо подготовленный сионистский художественный митинг.

Формы идеологической диверсии совершенствуются, становятся утонченнее и разнообразнее, и с этим надо решительно бороться, не допуская либерализма.

К указанному письму прикладываем свое заявление на 4-х страницах.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Мы хотим выразить не только свое частное мнение по поводу так называемого «Вечера творческой молодежи Ленинграда», состоявшегося в Доме писателя во вторник 30 января с. г. Мы выражаем мнение большинства членов литературной секции патриотического клуба «Россия» при Ленинградском обкоме ВЛКСМ...

Что же мы увидели и услышали?

Прежде всего огромную толпу молодежи, которую не в состоянии были сдерживать две технические работницы Дома писателя. Таким образом, на вечере оказалось около трехсот граждан еврейского происхождения. Это могло быть, конечно, и чистой случайностью, но то, что произошло в дальнейшем, говорит о совершенно противоположном.

За полчаса до открытия вечера в кафе Дома писателя были наспех выставлены работы художника Якова Виньковецкого, совершенно

исключающие реалистический взгляд на объективный мир, разрушающие традиции великих зарубежных и русских мастеров живописи. Об этой неудобоваримой мазне в духе Поллака, знакомого нам по цветным репродукциям, председательствующий литератор Я. Гордин говорил всем братьям по духу как о талантливой живописи, являющей собой одно из средств «консолидации различных искусств».

Этот разговор, дерзкий и политически тенденциозный, возник уже после прочтения заурядных в художественном отношении, но совершенно оскорбительных для русского народа и враждебных советскому государству в идейном отношении стихотворных и прозаических произведений В. Марамзина, А. Городницкого, В. Попова, Т. Галушко, Е. Кумпан, С. Довлатова, В. Уфлянда, И. Бродского.

Чтобы не быть голословным, прокомментируем выступление ораторов перед тремя сотнями братьев по духу.

Владимир Марамзин со злобой и насмешливым укором противопоставил народу наше государство, которое якобы представляет собой уродливый механизм подавления любой личности, а не только его, марамзинской, ухитряющейся все-таки показывать государству фигу даже пальцами ног.

А Городницкий сделал «открытие», что в русской истории, кроме резни, политических переворотов, черносотенных погромов, тюрем да суеверной экзотики, ничего не было.

Не раз уже читала со сцены Дома писателя свои скорбные и злобные стихи об изгоях Татьяна Галушко. Вот она идет по узким горным дорогам многострадальной Армении, смотрит в тоске на ту сторону границы на Турцию, за которой близка ее подлинная родина, и единственный живой человек спасает ее на нашей советской земле – это давно почивший еврей по происхождению, сомнительный поэт О. Мандельштам.

В новом амплуа, поддавшись политическому психозу, выступил Валерий Попов. Обычно он представлялся как остроумный юмористический рассказчик, а тут на митинге неудобно было, видно, ему покидать ставшую родной политическую ниву сионизма. В коротеньком рассказе В. Попов сконцентрировал внимание на чрезвычайно суженном мирке русской девушки, которая хочет только одного – самца, да покрасивее, но непременно наталкивается на дураков, спортсменов, пьяниц, и в этом ее социальная трагедия.

Трудно сказать, кто из выступавших менее, а кто более идейно закален на своей ниве, но чем художественнее талант идейного противника, тем он опаснее. Таков Сергей Довлатов. Но мы сейчас не хотим останавливаться на разборе художественных достоинств прочитанных сочинений, ибо, когда летят бомбы, некогда рассуждать о том, какого они цвета: синие, зеленые или белые.

То, как рассказал Сергей Довлатов об одной встрече бывшего полковника со своим племянником, не является сатирой. Это – акт обвинения. Полковник – пьяница, племянник – бездельник и рвач. Эти двое русских напиваются, вылезают из окна подышать свежим воздухом и летят. Затем у них возникает по смыслу такой разговор: «Ты к евреям как относишься?» – задает анекдотический и глупый вопрос один. Полковник отвечает: «Тут к нам в МТС прислали новенького. Все думали – еврей, но оказался пьющим человеком!..»

А Лев Уфлянд¹ еще больше подливает желчи, плюет на русский народ. Он заставляет нашего рабочего человека ползать под прилавками пивных, наделяет его самыми примитивными мыслями, а бедные русские женщины бродят по темным переулкам и разыскивают среди грязи мужей.

И в такой «дикой» стороне, населенной варварами, потерявшими, а может быть, даже и не имевшими человеческого обличия, вещает «поэтесса» Елена Кумпан. Она поднимается от этой «страшной» жизни в нечто мистически возвышенное, стерильное, называемое духом, рожденным ее великим еврейским народом.

Заклучил выступление известный по газетным фельетонам, выселявшийся из Ленинграда за тунеядство Иосиф Бродский. Он, как синагогальный еврей, творя молитву, воздевал руки к лицу, закрывал плачущие глаза ладонями. Почему ему было так скорбно? Да потому, как это следует из его же псалмов, что ему, видите ли, несправедливо исковеркали жизнь мы – русские люди, которых он иносказательно называет «собаками».

Последний псалом Иосифа Бродского прозвучал как призыв к кровной мести за все обиды и оскорбления, нанесенные русским народом еврейскому народу.

Подведя итоги, нужно сказать, что каждое выступление сопровождалось бурей суетливого восторга и оптимистическим громом аплодисментов, что, естественно, свидетельствует о полном единодушии присутствующих.

Мы убеждены, что паллиативными мерами невозможно бороться с давно распространяемыми сионистскими идеями. Поэтому мы требуем:

1. Ходатайствовать о привлечении к уголовной, партийной и административной ответственности организаторов и самых активных участников этого митинга.

2. Полного пересмотра состава руководства Комиссии по работе с молодежью ЛОСП РСФСР.

3. Пересмотра состава редколлегии альманаха «Молодой Ленинград», который не выражает интересы подлинных советских ленинградцев, а предоставляет страницы из выпуска в выпуск для сочинений вышеуказанных авторов и солидарных с ними «молодых литераторов».

Руководитель литературной секции Ленинградского клуба «Россия»

при Обкоме ВЛКСМ (В. Щербаков)

Члены литсекции (В. Смирнов)

(Н. Утехин)

4.2.68

Стоит ли комментировать этот зловецкий, пошлый и безграмотный документ? Надо ли говорить, что это – смесь вранья и демагогии? Однако заметьте, приемы тридцать восьмого года жизнестойки. Письмо вызвало чуткую реакцию наверху. Требования «подлинных советских ленинградцев» были частично удовлетворены. Руководители Дома Маяковского получили взыскания. Директора попросту сняли. «Молодой Ленинград» возглавил Кочурин – человек невзрачный, загадочный и опасный.

Единственное, чего не добились авторы, – так это привлечения молодых литераторов к уголовной ответственности. А впрочем, поживем – увидим...

Примечание

¹ Сам ты – лев. Уфлянда зовут Владимир (*примеч. авт.*).

Читая это заявление, я, разумеется, негодовал. Однако при этом слегка гордился. Ведь эти барбосы меня, так сказать, похвалили. Отметили, что называется, литературные способности.

Вот как устроен человек! Боюсь, не я один...

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Один наш знакомый горделиво восклицал:

«Меня на работе ценят даже антисемиты!»

Моя жена в ответ говорила:

«Гитлера антисемиты ценили еще больше...»

Печально я гляжу...

Язвительное пророчество Анатолия Наймана сбывалось. Я становился «прогрессивным молодым автором». То есть меня не печатали. Все, что я писал, было одобрено на уровне рядовых журнальных сотрудников. Затем невидимые инстанции тормозили мои рукописи. Кто управляет литературой, я так и не разобрался...

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Вера Панова рассказывала.

Однажды ей довелось быть на приеме в Кремле. Выступал Никита Хрущев. Он как следует выпил и поэтому говорил долго. В частности, он сказал:

«У дочери товарища Полянского была недавно свадьба. Молодым преподнесли абстрактную картину. Она мне решительно не понравилась...»

Через три минуты он сказал:

«В доме товарища Полянского была, как известно, свадьба. И вдруг начали танцевать... как его? Шейк! Это было что-то жуткое...»

И наконец, он сказал:

«Как я уже говорил, в доме товарища Полянского играли свадьбу. Молодой поэт читал стихи. Они показались мне слишком заумными...»

Тут Панова не выдержала. Встала и говорит Хрущеву:

«Все ясно, дорогой Никита Сергеевич! Эта свадьба явилась могучим источником познания жизни для вас...»

N

Естественно, что я подружился с такими же многострадальными, голодными авторами. Это были самолюбивые, измученные люди. Официальный неуспех компенсировался болезненным тщеславием. Годы жалкого существования отражались на психике. Высокий процент душевных заболеваний свидетельствует об этом. Да и не желали в мире призраков соответствовать норме.

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Как-то раз Найман и Губин поссорились. Заспорили – кто из них более одинок.

Конечский и Баунов чуть не подрались. Заспорили – кто из них опаснее болен.

Шигашов и Горбовский вообще прекратили здороваться. Заспорили – кто из них менее нормальный.

«До чего же ты стал нормальный!» – укорял приятеля Шигашов.

«Я-то ненормальный, – защищался Горбовский, – абсолютно ненормальный. У меня есть справка из психоневрологического диспансера... А вот ты – не знаю. Не знаю...»

Строжайшая установка на гениальность мешала овладению ремеслом, выбивала из будничной житейской колеи. Можно быть рядовым инженером. Рядовых изгоев не существует. Сама их чужеродность – залог величия.

Те, кому удавалось печататься, жестоко расплачивались за это. Их душевный аппарат тоже подвергался болезненному разрушению. Многоступенчатые комплексы складывались в громоздкую безобразную постройку. Цена компромисса была непомерно высокой...

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Как-то раз Битов ударил Андрея Вознесенского. Битова подвергли товарищескому суду. Плохи были его дела.

«Выслушайте меня, – сказал Битов, – и поймите! Я расскажу вам, как это произошло! Стоит мне рассказать, и вы убедитесь, что я действовал правильно. И тогда вы сразу же простите меня. Дайте мне высказаться. Вот как это было. Захожу я в ресторан. Стоит Андрей Вознесенский. А теперь скажите, мог ли я не дать ему по физиономии?!»

Ну и конечно же, здесь царил вечный спутник российского литератора – алкоголь. Пили много, без разбору, до самозабвения и галлюцинаций.

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Однажды после жуткого запоя Вольф и Копелян уехали на дачу. Так сказать, на лоно природы.

Наконец вышли из электрички. Копелян, указывая пальцем, дико закричал:

«Смотрите! Смотрите! Живая птица!..»

Увы, я оказался чрезвычайно к этому делу предрасположен. Алкоголь на время примирял меня с действительностью.

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Однажды меня приняли за Достоевского. Это было так. Я выпил лишнего. Сел в автобус. Отправился по делам.

Рядом оказалась девушка, и я заговорил с ней. Просто чтобы не уснуть. Автобус шел мимо ресторана «Приморский», когда-то он назывался – «Чванова». И я, слегка качнувшись, произнес:

«Обратите внимание, любимый ресторан Достоевского!»

Девушка отодвинулась и говорит:

«Оно и видно, молодой человек!..»

Пьяный Холоденко шумел:

«Ну и жук этот Фолкнер! Украл, паскуда, мой сюжет!..»

Относился я к товарищам сложно, любил их, жалел. Издевался, конечно, над многими. То и дело заводил приличную компанию, но всякий раз бежал, цепenea от скуки. Конечно, это снобизм, но говорить я мог только о литературе. Даже разговоры о женщинах казались мне всегда невыносимо скучными.

По отношению к друзьям владели мной любовь, сарказм и жалость. Но в первую очередь – любовь.

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Горбовский, многодетный отец, рассказывал:

«Иду вечером домой. Смотрю, в грязи играют дети. Присмотрелся – мои...»

Инга Петкевич как-то раз говорит мне:

«Когда мы были едва знакомы, я подозревала, что ты – агент госбезопасности».

«Но почему?» – спросил я.

«Да как тебе сказать... Явишься, займешь пятерку – своевременно отдашь. Странно, думаю, не иначе как подослали...»

Поэт Охупкин надумал жениться. Затем невесту выгнал. Мотивы:

«Она, понимаешь, медленно ходит. А главное – ежедневно жрет...»

Позвольте расписаться

Молодой писатель Рид Грачев страдал шизофренией. То и дело лечился в психиатрических больницах. Когда болезнь оставляла его, это был умный, глубокий и талантливый человек. Он выпустил единственную книжку – «Где твой дом». В ней шесть рассказов, трогательных и сильных.

Когда он снова заболел, я навещал его в Удельной. Разговаривать с ним было тяжело.

Потом он выздоровел.

Журналист по образованию, Рид давно бросил газетное дело. Денег не было. Друзья решили ему помочь. Литературовед Тамара Юрьевна Хмельницкая позвонила двадцати шести знакомым. Все согласились давать ежемесячно по три рубля. Требовался человек, обладающий досугом, который бы непосредственно всем этим занимался.

Я тогда был секретарем Пановой, хорошо зарабатывал и навещал ее через день. Тамара Юрьевна предложила мне собирать эти деньги и отвозить Риду. Я, конечно, согласился.

У меня был список из двадцати шести фамилий. Я принялся за дело. Первое время чувствовал себя неловко. Но большинство участников мероприятия легко и охотно выкладывали свою долю.

Алексей Иванович Пантелеев сказал:

– Деньги у меня есть. Чтобы не беспокоить вас каждый месяц, я дам тридцать шесть рублей сразу. Понадобится больше – звоните.

– Спасибо, – говорю.

– Это вам спасибо...

Метод показался разумным. Звоню богачу N. Предлагаю ему такой же вариант. Еду на Петроградскую. Незнакомая дама выносит три рубля. Зайти не предлагает.

Мы стояли в прихожей. Я сильно покраснел. Взгляд ее говорил, казалось:

– Смотри, не пропей!

А мой, казалось, отвечал:

– Не извольте сумлеваться, ваше благородие...

У литератора Брянского я просидел часа два. Все темы были исчерпаны. Денег он все не предлагал.

– Знаете, – говорю, – мне пора.

Наступила пауза.

– Я трешку дам, – сказал он, – конечно дам. Только, по-моему, Рид Грачев не сумасшедший.

– Как не сумасшедший?

– А так. Не сумасшедший и все. Поумнее нас с вами.

– Но его же лечили! Есть заключение врача...

– Я думаю, он притворяется.

– Ладно, – говорю, – мы собираем деньги не потому, что Рид больной. А потому, что он наш товарищ. И находится в крайне стесненных обстоятельствах.

– Я тоже нахожусь в стесненных обстоятельствах. Я продал улы.

– Что?!

– Я имел семь улыев на даче. И вынужден был три улы продать. А дача – вы бы поглядели! Одно название...

– Что ж, тогда я пойду.

– Нет, я дам. Конечно дам. Просто Рид не сумасшедший. Знаете, кто действительно сумасшедший? Лерман из журнала «Нева». Я дал в «Неву» замечательный исповедальный роман

«Одержимость», а Лерман мне пишет, что это «гипертрофированная служебная характеристика». Вы знаете Лермана?

– Знаю, – говорю, – это самый талантливый критик в Ленинграде...

С писателем Рафаловичем встреча была короткой.

– Вот деньги, – сказал он, – где расписаться?

– Нигде. Это же не официальное мероприятие.

– Ясно. И все-таки для порядка?

– Вы не беспокойтесь, – говорю, – я деньги передам.

– Как вам не стыдно! Я вам абсолютно доверяю. Но я привык расписываться. Иначе как-то не солидно...

– Ну хорошо. Распишитесь вот тут.

– Это же ваша записная книжка.

– Да, я собираю автографы.

– А что-нибудь порядка ведомости?

– Порядка ведомости – нету.

Рафалович со вздохом произнес:

– Ладно. Берите так...

Конечно, уклонился я от этого поручения. Мои обязанности взяла на себя Тамара Юрьевна Хмельницкая.

Помочь Риду не удалось. Он совершенно невменяем...

Директор Кондрашев

Есть один документ, характеризующий наши литературно-издательские порядки. (Копия снята в Ленинградском обкоме.) Предыстория документа такова.

Вышла нашумевшая книга – «Мастера русского стихотворного перевода». Ей была предпослана статья Эткинда. Коротко одна из его мыслей заключалась в следующем. Большие художники не имели возможности печатать оригинальные стихи. Чтобы заработать на хлеб, они становились переводчиками. Уровень переводов возрос за счет качества литературы в целом.

Теперь читаем:

*Заведующему Отделом культуры
Ленинградского обкома КПСС
тов. Александрову Г. П.*

Клеветническое утверждение Е. Эткинда о характере развития нашей литературы в советский период во вступительной статье к книге «Мастера русского стихотворного перевода» не может не вызвать у меня возмущения.

Хотя с января 1968 года редакция «Библиотеки поэта» не подведомствена мне в смысле прохождения рукописей, но я, как руководитель отделения издательства, как коммунист, не имею права оправдывать себя юридическим невмешательством. Есть сторона политико-моральная, обязывающая каждого члена партии любыми средствами бороться за чистоту нашей идеологии.

Строгие административные меры, которые будут предприняты руководством издательства к людям, непосредственно допустившим антисоветский выпад Эткинда, – это естественно, но главный вывод из случившегося, главное состоит в том, чтобы повысить в издательстве воспитательную работу в соответствии с решением апрельского Пленума ЦК КПСС, исключить малейшую возможность протащить в отдельных произведениях взгляды, чуждые социалистической идеологии нашего общества.

*Директор Ленинградского отделения издательства «Советский писатель»
Г. Ф. Кондрашев
11.10.68*

Чего можно ждать от издательств, если «ключевые позиции» в них занимают такие люди?..

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.